

Новая версия смерти поэта.

Маяковского убрали вслед за Есениным!

Почему писатели тянулись к чекистам?

Секреты химических лабораторий.

С тех пор, как три месяца назад литературный критик Константин Кедров предположил в «Известиях», что Владимир Маяковский вовсе не покончил с собой, а был убит чекистами по приказу Сталина, число сторонников этой версии все увеличивается.

Правда, литературоведы, знатоки жизни и творчества Маяковского держатся скептически. Они охотнее цитируют Пастернака, который с присущей гениальным поэтам прозорливостью предположил когда-то:

«Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие».

Но многим версия об убийстве Маяковского кажется весьма убедительной.

ВСЛЕД ЗА ЕСЕНИНЫМ?

Для публики самоубийство слишком прозаично. Публика скорее готова поверить в тайное убийство, в заговор, в существование неких секретных сил.

Тем более что почва подготовлена. Мало кто сомневается в способности чекистского ведомства пойти на «мокрое дело». А кое для кого предположение об убийстве Маяковского лишь подтверждает существование сатанинского плана уничтожения русской культуры, который начали осуществлять после октябрьского переворота захватившие власть евреи.

Уже несколько лет российскую публику убеждают в том, что Сергей Есенин не повесился, а был повешен. Несколько писателей и один бывший милиционер, публикующиеся в профессионально-патристических изданиях, самостоятельно провели расследование и без труда выявили гнусных убийц.

Правда, новая всеобъемлющая экспертиза патологоанатомического заключения о смерти Сергея Есенина категорически опровергает возможность насильственной смерти: поэт повесился сам, без чужой помощи.

Но авторы версии об убийстве не обратили на экспертизу ни малейшего внимания. Экспертиза авторам версии не нужна потому, что они знают: великого русского поэта Есенина убили чекисты-евреи.

АГЕНТЫ И ПОЭТЫ

Нет сомнений в искренности намерений самого Константина Кедрова. Думая о трагической судьбе Маяковского, он пришел к выводу, что поэт не по своей воле покинул сей мир.

Отправная точка его рассуждений — странный интерес чекистов к поэту.

Вокруг Маяковского кружились высокопоставленные чекисты, специалисты по тайным политическим убийствам и похищениям, пишет Кедров. Среди них член коллегии ОГПУ и начальник секретно-политического отдела Яков Агранов, а также некий Эльберт, которого Кедров считает участником убийства белого генерала Кутепова, в январе 1930-го похищенного из Парижа.

Давно отмечено странное взаимное тяготение людей искус-

ва и офицеров секретных служб. Рыцарям плаща и кинжала льстит внимание властителей дум. А поэтов, артистов и художников волнует мистическое обаяние тайной власти, исходящее от секретных служб. А может быть, просто сюжеты себе ищут в рассказах бывалых людей...

Яков Агранов был чекистом-интеллектуалом. Когда в 1922 году Ленин приказал выставить из страны «контрреволюционных» ученых, он просил Державина поручить это дело толковому чекисту. Поручили Агранову.

Сибарит Рудольф Менжинский, в высшей степени амбициозный Генрих Ягода, ошалевший от стремительного взлета на Олимп Николай Ежов и их высокопоставленные подчиненные, включая Агранова (его последняя должность — первый заместитель наркома внутренних дел), охотно участвовали в богемной жизни Москвы, дружили с мастерами искусства, как тогда говорили, изображали из себя меценатов.

Генрих Ягода торчал в доме Горького не потому, что он следил за пролетарским писателем. Ему, как уверяют, нравилась жена Пешкова-младшего, а еще больше нравилось внимание, с которым ему внимал цвет художественной интеллигенции России. А следить за писателями было кому и помимо наркома и его заместителей. На недостаток агентов и осведомителей это ведомство в России никогда не жаловалось.

Бабель водил компанию с Яковом Блюмкиным, который принимал участие в убийстве германского посла Мирбаха. Маяковский — с Аграновым. Кстати говоря, эта традиция из 20—30-х годов перешла и в наши дни.

Так что Кедров оказывается в плену собственной схемы, когда пишет: «Ясно, что руководил операцией опытный агент ЧК Агранов». Агранов же занимался похоронами поэта и, по мнению Кедрова, должен был во время похорон замести какие-то следы. Какие?

Кедров цитирует художницу Лавинскую, которая видела в руках Агранова снимок мертвого Маяковского, но не тот, который всем известен, а совсем другой: «Распростертого, как распятого, на полу с раскнутыми руками и ногами и широко раскрытым в отчаянном крике ртом».

Самоубийство тоже причиняет страдания, так что в последнюю минуту жизни Маяковский вполне мог так выглядеть. Но если Агранов должен был скрыть эту фотографию, то зачем же «опытный агент» позволил увидеть ее художнице Лавинской?

ПИСТОЛЕТ, ЛЕДОРУБ, ЛОМ

Кедров видит особый знак в том, что Маяковскому прислали с Лубянки пистолет. «Ему не положено», — пишет Кедров. Очень даже положено. И в наши дни крупные деятели культуры получают личное оружие для самозащиты, а уж в те времена это было достаточно широкой практикой.

Прислать пистолет как предложение к самоубийству — это уж очень романно. Не стоит так хорошо думать о чекистах, они все-таки были в первую очередь чиновниками, бюрократами.

Достаточно представить себе, как оперуполномоченный ОГПУ составляет на имя председателя бумагу с предложением послать «поэту Маяковскому В.В. пистолет, чтобы он понял, что ему следует застрелиться», как сразу станет ясной нелепость этого предположения.

В этом ведомстве всегда дей-

ствовали самым простым образом: если поступала команда уничтожить, то уничтожали — сажали, расстреливали, вешали, проламывали голову ледорубом или ломом. Зачем сложнее пути искать, когда столько простых?

Кедров полагает: «В 30-м году Маяковского надо было убирать во что бы то ни стало. И его убрали».

Ставить себя на место другого человека — полезно. Но все-таки трудно поставить себя на место Сталина, причем именно в 1930-м, и понять, почему именно Маяковского надо было «убрать во что бы то ни стало».

Криминальное мышления Сталина не подлежит сомнению. Но также надо иметь в виду, что приказ убивать он тоже научился отдавать не сразу. Самым

ЛЕОНИД МЛЕЧИН

ЗАСТРЕЛИЛ ЛЕВ МАЯКОВСКИМ

главным врагом его был Троцкий. Приказ об убийстве Троцкого был отдан не в 1930 году, а позже. Так что же, выходит, Маяковский был более опасен, чем Троцкий? В 1930-м не убивали, а только еще сажали.

Проживи Маяковский подольше, он бы скорее всего пошел в ежовско-бериевскую мясорубку. Но не в 1930-м, а в 1936—1938 годах.

Не стоит и переоценивать роль Маяковского для Сталина, партийной верхушки. Это сейчас он представляется самой крупной вершиной, а на литературно-политическом ландшафте 30-х были другие величины, в большей степени интересовавшие хозяев Старой площади и Лубянки.

ЧАЙ С ЧЕКИСТАМИ

Кедров пришел к выводу, что чекисты, по меньшей мере, обрабатывали его специальными препаратами и таким образом вели до самоубийства.

«А что если чай с чекистами были отнюдь не безвредными? — задается вопросом Константин Кедров. — Психотропными средствами обработки ЧК по-настоящему овладело к моменту показательных процессов 1937 года... Похоже, что плохое физическое самочувствие поэта было вызвано каким-то отнюдь не безвредным средством, которое нетрудно было подсыпать в еду таким мастерам этого дела, как Эльберт (у Кедрова то Эльберт, то Эльберг) или Агранов».

Не знаю, как насчет неизвестного мне Эльберта-Эльберга, но для Агранова подсыпать яд в чай было бы в новинку. Он был мастером своего дела, но другого. Он был типичным убийцей за письменным столом. Он мог убить десятки тысяч человек, но опосредованно, подписывая приказ, а не стреляя или подсыпая яд.

В 1930-м он был уже одним из руководителей ОГПУ, а вовсе не агентом-оперативником, которого отправляют на «мокрое дело».

Кроме того, на сегодняшний день нет никаких оснований утверждать, что в 30-е годы ОГПУ-НКВД использовало психотропные средства — по той простой причине, что эффективных средств такого типа еще не было.

Эта отрасль прикладной химии появилась после того, как в 1942 году один швейцарский химик синтезировал препарат ЛСД.

Производные этого препарата и некоторые другие сложные химические соединения в 50—60-е и в начале 70-х годов активно изучались в лабораториях всех спецслужб. На психотропные средства возлагались большие надежды в плане манипуляций человеческим мозгом. Но эти надежды не оправдались.

ОТВЕТ НЕ В ЛАБОРАТОРИИ

Конечно, поразительные признания обвиняемых на московских процессах 30-х годов казались неразрешимой загадкой. И, скажем, ЦРУ в начале 50-х годов тоже подозревало, что Москва каким-то образом научи-

лась контролировать поведение людей.

Поведение подсудимых на процессах 30-х годов, странные признания венгерского кардинала Миндсенти, над которым устроили суд в 1949 году, антиамериканские речи, которые внешне стали произносить попавшие в плен к северным корейцам американские летчики, казалось, имеют только одно объяснение — «промывание мозгов».

В одном из докладов ЦРУ 50-х годов говорилось о возможности использования русскими лоботомии, электрошоков, таких препаратов, как инсулин, метазол и кокаин, гипноза в сочетании с наркотиками.

Почти четверть века ЦРУ вело исследования на эту тему, но практически безуспешно.

Ответы следует искать не в химических лабораториях.

Кстати, откликнувшийся на статью Кедрова в «Известиях» полковник юстиции в отставке Леонид Федоров, который в середине 50-х годов занимался проверкой материалов фальсифицированного процесса о «Промпартии», сам же и объясняет, почему люди, попавшие в руки чекистов, в конце концов говорили все, что от них требовалось: многочасовые допросы, бессонные ночи, угрозы арестовать членов семьи действующего значительно сильнее, чем мистические психотропные средства.

ВСЕЛЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Кедров считает, что «размер депрессии Маяковского не соответствовал масштабу происходящего».

Вообще говоря, депрессия как таковая свидетельствует о том, что организм человека не способен адекватно реагировать на обстоятельства жизни, это болезненная реакция.

Нужно ли говорить, что поэты самый в этом смысле ранимый род людей? То, что со стороны кажется малозначительным, для них трагедия вселенских масштабов.

А на Маяковского в последние годы и месяцы его жизни обрушилось столько оскорблений, что в этом смысле можно говорить о доведении до самоубийства. Такой была атмосфера 30-х годов, в которой уничтожалось

все талантливое, неординарное.

В подкрепление своих слов позволю себе сослаться на свидетельство очевидца. На записке моего деда — Владимира Млечина, театрального критика, который знал Маяковского и оставил свои воспоминания.

Константин Кедров полагает, что Сталин приказал уничтожить Маяковского, сочтя его песью «Баня» своего рода издевкой над генсеком. Диспут вокруг «Бани» занимает центральное место в публикуемых воспоминаниях.

Автор работал над ними долго — до самой смерти в январе 1970 года.

Помню, что, когда готовился сборник «Маяковский в воспоминаниях родных и друзей», ему предложили включить в книгу свои записки. Он отказался: «К

родным Маяковского не имею чести принадлежать, а другим называть себя не смею».

Столетняя годовщина со дня рождения поэта и кажущиеся мне неубедительными и нелепыми толки о его смерти навели меня на мысль опубликовать отрывки из воспоминаний моего деда.

Владимир МЛЕЧИН
ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ

Последняя встреча с Владимиром Маяковским сразу после выступления Маяковский шепнул мне:

— Поедем отсюда.

Я спустился в вестибюль, и мы вышли на улицу.

Маяковский был сумрачен и молчалив.

Поехали в «кружок».

Шел двенадцатый час ночи. Маяковский махнул проезжавшему свободному извозчику. Мы сели.

— Может, в «Националь»? — спросил я, полагая, что Маяковский хочет поиграть на бильярде.

— Нет уж, давайте в «кружок».

Так в обиходе московской литературно-театральной богемы именовался Клуб мастеров искусств в Староименовском переулке.

В клубе в тот вечер не было ничего, что могло бы заинтересовать Маяковского. Я подумал, что он хочет поужинать, поиграть на бильярде — ради этого, собственно, и ездили в «кружок»: здесь был отличный и сравнительно недорогой ресторан, хорошие бильярдные пирамидки и приветливый маркер Захар, который знал всех посетителей и отлично их обслуживал.

Но мы не ужинали. Не играли. — Посидим где-нибудь, поболтаем.

Устроились в коридорчике, который вел к ресторану. Дважды, может быть, трижды подходил к нам официант, предлагая поесть, потом сообщая о предстоящем закрытии кухни. Маяковский благодарил, но в ресторан не пошел.

Мы приехали не позже двенадцати. Мы ушли последними, когда клуб закрывался, стало быть, не ранее четырех часов утра. О чем же мы говорили целых

четыре часа? И почему Маяковский выбрал в собеседники именно меня — далеко не самого близкого к нему человека?

«ТЕЗКА, ДАЙТЕ ДЕНЕГ»

Мы познакомились летом 1926 года, когда я оказался в Москве и стал работать в издательстве «Молодая гвардия».

Сейчас трудно себе представить, что человек десять управлялись с громадным объемом разнообразнейшей литературы. По-видимому, большие штаты, которыми ныне располагают издательства, не являются обязательной предпосылкой успешной работы.

Однажды из комнаты редакторов донесся изрядный шум. Какой же молодой (и неопытный) администратор потерпит беспорядок в своем учреждении!

что боялся их: игру всегда можно было уравновесить форой. Ему претили ухищрения профессиональной игры, обязательно связанный со сложными тактическими ходами и с известной долей коварства. Но не любил он и «пустой» игры, то есть без всякой ставки. Исключения он делал только для партнеров заведомо слабых. Так он играл с Луначарским, который бильярд очень любил, но играл чрезвычайно слабо.

Анатолий Васильевич, человек, вообще говоря, исключительной тонкости и проницательности, в бильярдной ставился простодушным до наивности: он искренне верил, что играть неплохо — только ему очень не везет.

У Маяковского был поразительно точный и сильный удар.

ВЛАДИМИР

ИШЛИ Е
УБИЛИ

Я зашел в комнату и увидел картину, в общем, юмористическую: маленький редактор, здоров голову, стоял перед Маяковским, который с высоты своего без малого двухметрового роста смотрел куда-то в потолок и то сердито, то саркастически отводил шаткие аргументы собеседника.

Выяснилось, что поэт сдал в издательство сборник стихов, а рукопись потерял. Я увел Маяковского к себе в кабинет и кое-как уладил конфликт.

Через несколько дней я вновь увидел Маяковского, который сразу зашел ко мне, уселся на край стола и деловито сказал:

— Тезка, дайте денег.

— За что, Владимир Владимирович?

— Не за что, а на что. Еду в Крым.

— Без договора финотдел не даст.

— Значит, ничего нельзя придумать?

— Есть одна мысль, — сообразил я. — Если одобрите, организую аванс. Напишите для нас детскую книжку.

Прошло месяца два, и я вновь увидел Маяковского. Просто, точно вчера расстался, он протянул свою мощную руку, уселся на тот же стол, вытащил небольшую записную книжку и прочитал: «Эта книжечка моя про моря и про маяк».

БИЛЬЯРД
С ЛУНАЧАРСКИМ

Только после этих встреч я стал более или менее регулярно ходить на его литературные вечера. Затем я сам стал писать о театре, из издательства перешел в «Вечернюю Москву». Мы виделись в некоторых домах, в частности у Луначарского. Вскоре нашлось и еще одно поле для встреч — бильярдное.

Играл Маяковский очень хорошо — для любителей, разумеется. Делаю эту оговорку, потому что даже сильнее любители не могли на равных состязаться с профессионалами, уровень игры которых в те годы достигал высокого совершенства. Бильярдных было много, крупная игра шла почти всюду. Еще в полной силе были дореволюционные мастера:

Маяковский с профессионалами играл редко. И не потому

особенно хорошо он играл угловыми шарами, но и в середине любил положить шар «с треском».

«Человек — это стиль» — говорят французы. И в стиле бильярдной игры, в каждом движении Владимира Владимировича сквозило то своеобразие, которое было свойственно всем проявлениям его неповторимой индивидуальности — прямота, напор, смелость, порой дерзость, и вместе с тем — отличная выдержка, стойкость, поразительная корректность.

Вообще корректность, да и подлинное рыцарство были свойствами натуры Маяковского. Но неверно думать, что Маяковский всегда был вежлив, сдержан и мягок. Отнюдь нет, он бывал очень резок и весьма напорист, когда речь шла о серьезном деле, тем паче, если доводилось отстаивать творческие или общественные позиции, принципы, убеждения. Тут он становился беспоощадным, превращался в непреклонного борца.

Тем более удивительным, непохожим на себя показался мне Маяковский в тот памятный мне день нашей последней встречи.

УРАГАН

В ДВЕНАДЦАТЬ БАЛЛОВ Вечером 27 марта 1930 года мне предстояло вступительным словом о пьесе Маяковского «Баня», поставленной театром Мейерхольда, открыть диспут в Доме печати.

А днем у нас в редакции «Вечерней Москвы» для обсуждения пьесы и мейерхольдовской постановки собралась рабочая бригада. Значительная часть этой «бригады» состояла из студентов, в частности ГИТИСа. Впрочем, было и несколько заводских рабочих. Время от времени газета приглашала бригаду на общественные просмотры, затем устраивала обсуждения.

После просмотра «Бани» хор негодующих был яростным, стройным, а голоса защитников звучали неуверенно, даже робко.

Над пьесой и спектаклем пронесся критический ураган в двенадцать баллов.

Наиболее резко против постановки выступила «Рабочая газета»: «То, что у Безыменского в «Выстреле» является подлинной советской сатирой, за которой

ре часа? И почему Маяковский выбрал в собеседники именно меня — далеко не самого близкого к нему человека?

ТЕЗКА, ДАЙТЕ ДЕНЕГ!

Мы познакомились летом 66 года, когда я оказался в Москве и стал работать в издательстве «Молодая гвардия». Сейчас трудно себе представить, что человек десяти лет управляет с громадным объемом разнообразнейшей литературы. Видному, большие штаты, огромными средствами, огромными средствами, но не являющиеся обязательным предпосылкой успешной работы.

Дважды из комнаты редактора донесся изрядный шум. Той же молодой (и неопытной) администратор потерпел поразительный провал в своем учреждении!

что боялся их: игру всегда можно было уравновесить форой. Ему претили ухищрения профессиональной игры, обязательно связанной со сложными тактическими ходами и с известной долей коварства. Но не побил он и «пустой» игры, то есть без всякой ставки. Исключения он делал только для партнеров заведомо слабых. Так он играл с Луначарским, который бильярд очень любил, но играл чрезвычайно слабо.

Анатолий Васильевич, человек, вообще говоря, исключительной тонкости и принципиальности, в бильярдной становился простодушным до наивности: он искренне верил, что играет неплохо — только ему очень не везет.

У Маяковского был поразительно точный и сильный удар.

ВЛАДИМИР МЛЕЧИН

ИДИ ЕГО УБИЛИ

Яшел в комнату и увидел тину, в общем, юмористический маленький редактор, за голову, стоял перед Маяким, который с высоты своего без малого двухметрового а смотрел куда-то в потолок сердито, то саркастически дил шаткие аргументы содеяния.

яснилось, что поэт сдал в тельство сборник стихов, а тезка, дайте денег. Я увел Маякого к себе в кабинет и кое-как уладил конфликт.

ел несколько дней я вновь ел Маяковского, который ушел ко мне, усеялся на стола и деловито сказал: Тезка, дайте денег.

За что, Владимир Владимирович?

Не за что, а на что. Еду в м.

Без договора финотдел не

Значит, ничего нельзя при-

ть? Есть одна мысль, — сообщу я. — Если одобрите, организуем аванс. Напишите для нас книгу.

рошло месяца два, и я увидел Маяковского. Проточно вчера расстались, он янул свою мощную руку, ся на тот же стол, вытащил лшью записную книжку и итал: «Эта книжечка моя моря и про маяк».

БИЛЬЯРД С ЛУНАЧАРСКИМ

лько после этих встреч я более или менее регулярно ть на его литературные ве- Затем я сам стал писать о ре, из издательства пере- в «Вечернюю Москву». Мы льсь в некоторых домах, в ности у Луначарского. ре нашлось и еще одно поле встреч — бильярдное.

грал Маяковский очень хо- — для любителей, разуме- Делаю эту оговорку, пото- что даже сильнейшие люби- не могли на равных соста- ся с профессионалами, ень игры которых в те годы игал высокого совершенст-

Бильярдных было много, ная игра шла почти всюду, в полной силе были дорево- юнные мастера.

аковский с профессиона- и играл редко. И не потому

Особенно хорошо он играл угловые шары, но и в середине любил положить шар «треском».

«Человек — это стиль» — говорят французы. И в стиле бильярдной игры, в каждом движении Владимира Владимировича сквозило то своеобразие, которое было свойственно всем проявлениям его неповторимой индивидуальности — прямота, напор, смелость, порой дерзость, и вместе с тем — отличная выдержка, стойкость, поразительная корректность.

Вообще корректность, да и подлинное рыцарство были свойствами природы Маяковского. Но неверно думать, что Маяковский всегда был вежлив, сдержан и мягок. Отнюдь нет, он бывал очень резок и весьма напорист, когда речь шла о серьезном деле, тем паче, если доводилось отстаивать творческие или общественные позиции, принципы, убеждения. Тут он становился беспощадным, превращался в непреклонного борца.

Тем более удивительным, похожим на себя показался мне Маяковский в тот памятный мне день нашей последней встречи.

УРАГАН В ДВЕНАДЦАТЬ БАЛЛОВ

Вечером 27 марта 1930 года мне предстояло вступительным словом о пьесе Маяковского «Баня», поставленной театром Мейерхольда, открыть диспут в Доме печати.

А днем у нас в редакции «Вечерней Москвы» для обсуждения пьесы и мейерхольдовской постановки собралась рабочая бригада. Значительная часть этой «бригады» состояла из студентов, в частности ГИТИСа. Впрочем, было и несколько заводских рабочих. Время от времени газета приглашала бригаду на общественные просмотры, затем устраивала обсуждение.

После просмотра «Бани» хор негодующих был яростным, стройным, а голоса защитников звучали неуверенно, даже робко.

Над пьесой и спектаклем пронесся критический ураган в двенадцать баллов.

Наиболее резко против постановки выступила «Рабочая газета»: «То, что у Безыменского в «Выстреле» является подлинной советской сатирой, за которой

чувствуется большая взволнованность и боль за наши недочеты, — здесь превращено в холодный и грубый гротеск, цинично искажающий действительность».

Не пощадила Маяковского и «Комсомольская правда»: «Продукция у Маяковского на этот раз вышла действительно плохая, и удивительно, как это случилось, что театр имени Мейерхольда польстился на эту продукцию».

Эта резкость была результатом общей недооценки Маяковского, который воспринимался лишь как главарь одного из борющихся литературных течений. К тому же он был не членом партии, а всего лишь попутчиком.

Мне казалось тогда, что его пьесы, включая «Баню», носят преходящий характер, безотно-

сительно до достоинства, которые я видел и гласно признавал. «Баню» я счел произведением талантливым, самобытным, но в чем-то незавершенным, не нашедшим, вдобавок, полноценного, адекватного сценического воплощения.

Перед началом совещания в «Вечерней Москве» мне пришлось отлучиться. Вернувшись, я увидел такую картину: Маяковский стоял в коридоре, прильнув к притолоке у двери комнаты, где происходило совещание, и слушал, явно не желая показываться собравшимся.

По голосу я узнал критика, который нередко выступал на страницах «Вечерней Москвы». Он критиковал пьесу и спектакль аргументированно и довольно едко. Маяковский буквально серел, но пресекал все мои попытки войти в комнату и вмешаться в ход обсуждения.

Я ощутил необыкновенно болезненную реакцию Владимира Владимировича на критику пьесы, хотя кто-кто, а он, казалось, привык к таким разносам и разгромам, к таким критическим тайфунам, по сравнению с которыми эта речь старого театрала могла показаться благодушной. Но таково уж, видимо, было настроение Владимира Владимировича в те дни, такова была степень его ранимости, которую обычно он умел великолепно прикрывать острой шуткой, едкой репликой, а то и явной бравадой.

Маяковский был явно угнетен и подавлен.

ЗНАТОК ПУЛЕМЕТНОЙ СТРЕЛБЫ

Когда возвращаешься мысленно к той далекой поре, кажутся непостижимыми равнодушные, слепота и глухота, которые овладели людьми, знавшими поэта близко, его друзьями и соратниками.

Я вспомнил, как 25 февраля на открытии Клуба мастеров искусств впервые услышал, как Маяковский читал вступление к поэме «Во весь голос».

Обстановка была парадная, банкетная, легкомысленная. Собравшиеся сидели за столиками. Самые прославленные представители различных муз соревновались в умении развлекать

узкий круг (зал маленький, от силы полтора человека) изощренных ценителей.

На полукапустническом фоне стихи Маяковского резанули по сердцу.

«Наших дней изучая потемки...» Какие потемки? Это кому же темно в светлые дни ликвидации кулачества как класса и всеобщей победы, одержанной РАППом над иноверцами, в том числе над самим неукротимым Маяковским?

Меня поразили глубокое беспокойство, невысказанная боль, охватившие сердце поэта. Он обращался к потомкам, потому что отчаялся услышать отклик современников. Как можно было пройти мимо его трагической настроенности?

Бас Маяковского рокотал, некогда было оценить всю силу и глубину образа, неповторимую инструментовку стиха, изумительное искусство звукописи — совсем другое ощущение охватило меня: внутренняя дрожь, неосознанное чувство тревоги, беспокойства.

Наступила та тишина, о которой мечтает каждый актер, каждый режиссер, тишина завороженности, зачарованности, которая дороже всяких шумных оваций. И когда на последней ноте замер голос чтеца и отзвучала неслышанная в этом зале тишина, когда отгремели аплодисменты, вдруг за одним из столиков раздался до противности рассудительный голос:

— Маяковский пробует эпатировать нас, как некогда эпатировал петроградских курсисток.

Говорил директор крупного московского театра, известный своей военной выправкой и познаниями в теории пулеметной стрельбы...

ДИСПУТ О «БАНЕ»

Я долго не мог отделаться от чувства тревоги, как я был уверен, беспричинной, вызванной только смелостью, насыщенностью произведения и покоряющей силой исполнения.

В конце концов не так близко знал я Маяковского, не знал бремени обрушившихся на него бед и не мог постичь неимоверной боли, которая уже не дни, наверное, а недели и месяцы точила сердце поэта.

Да и весь привычный облик Маяковского, всегда собранного, всегда настроенного как бы воинственно, агрессивно, не вязался с мыслью о назревающей, если уже не вполне созревшей трагедии.

Народу на диспуте о «Бане» было немного. И уже во время моего вступительного слова обозначились две группы слушателей разной численности. Пока я говорил — более или менее сочувственно — о пьесе, иронические реплики подбрасывала группа рапповцев, а подбадривали меня мейерхольдовцы. Когда я заговорил о недостатках спектакля, заволновались мейерхольдовцы, а поддерживать стали рапповцы.

Речь Маяковского была очень похожа на его обычные речи — наступательные, часто агрессивные, иногда веселые, задиристые.

После диспута в Доме печати Маяковский и повлек меня в клуб мастеров, где мы проговорили почти всю ночь.

ТРАВЛЯ

Чувство глубокой горечи, недоумения, можно сказать, обиды слышалось едва ли не в каждой фразе, в каждом жесте, даже в междометиях Маяковского. Нельзя забыть и ощущения растерянности, которая явно владела им в тот день и так не вязалась с обликом Маяковского.

Маяковский спросил меня, почему «Вечерняя Москва», вопреки обычаю откликаться на



премьеры на следующий же день, до сих пор не выступила.

Я сказал откровенно, что в редакции нет единодушия в оценке спектакля.

— Но в редакции же есть статья о «Бане»?

— Кто вам сказал об этом? — ответил я вопросом.

— Ну, в редакциях секреты не хранятся. Так почему вашу статью не печатают?

Я ответил, что моя статья не очень удалась и товарищам показались расплывчатой.

— То есть недостаточно резкой? Товарищи боятся не попасть в тон разгромным статьям «Рабочей газеты» и «Комсомолки»? Скажите, чем объясняется это поветрие? Вы можете вспомнить, чтобы так злобно писали о какой-либо пьесе? О «Днях Турбинных», даже о «Зойкиной квартире» не писали в таком разном тоне. И все — как по команде. Что это — директива?

Я попытался убедить Владимира Владимировича в том, что никакой директивы нет и быть не может, что рецензия — результат неблагоприятного настроения, сложившегося на премьере, что пьеса трудна для понимания, что Мейерхольд не проявил свойственной ему изобретательности...

— Да при чем тут Мейерхольд! — прервал меня Маяковский. — Удар наносится по мне — сосредоточенный, злобный, организованный. Непристойные рецензии — результат организованной кампании.

— Организованной? — удивился я. — Кем? Кто заинтересован в такой кампании против вас?

Маяковский говорил даже о травле. Он утверждал, что этот яростный в связи с выставкой, которую он организовал к двадцатилетию своей литературной деятельности.

— Я много езжу, выступаю, хотя у меня большие связи и временами выступать совсем не следует, — говорил Маяковский.

Он рассказал мне, что давно убедился: новая форма его стиха лучше воспринимается на слух. Он сам таким образом создает себе читателя. Теперь он может на вечерах продавать огромное число своих книг, даже тома собраний сочинений. Попутно он ведет общекультурную работу, которую, кроме него, никто не ведет. И вот в разгар этой работы ему наносится удар за ударом с явным намерением подорвать доверие к нему, вывести его из строя.

— С восемнадцатого года меня так не поносили. Тогда, после первой постановки «Мистеринбуфф» в Петрограде писали: «Маяковский продан большевикам».

Я сделал попытку перевести беседу в юмористический план: — Так чего вам сокрушаться, Владимир Владимирович? Ругались прежде, кроют теперь...

— Как же вы не понимаете разницы? Теперь меня клеймят со страниц родных мне газет!

(Окончание на стр. 25).

**ЛЕОНИД МЛЕЧИН
ЗАСТРЕЛИЛСЯ
МЯЯКОВСКИЙ**

(Окончание. Начало на стр. 16—17).

— Но все-таки к вам хорошо относятся, — попробовал я возразить.

— Кто?

— Например, Анатолий Васильевич Луначарский сказал мне, что в ЦК партии вас поддержали, когда возник вопрос об издании вашего собрания сочинений.

— Да, Луначарский мне помогал. Но с тех пор много воды утекло.

ЕСТЬ ДИРЕКТИВА!

Маяковский был уверен, что враждебные ему силы находят у кого-то серьезную поддержку. Только этим можно объяснить и то, что никто из официальных лиц не пришел на его выставку, что литературное начальство было представлено одним Фадеевым, что на выставку не откликнулись большие газеты, а журнал РАПП «На литературном посту» устроил ему «очередной разнос».

— А почему эту разносную статью перепечатала «Правда»? Что это означает? Булавочные уколы, пустяки? Нет, это кампания, это директива! Только чья, не знаю.

— Вы думаете, что «Правда» действовала по директиве? — переспросил я.

— А вы полагаете, что по наитию, по воле святого духа? Нет, дорогой.

— Вы, мне кажется, все преувеличиваете. Статья в «Правде»? Можно говорить об уклоне — как не найти уклоны в литературе. Вот и статья о «левом уклоне».

— Вы правы в одном: статья в «Правде» сама по себе не могла сыграть большой роли. Но вы никак не объясните, почему вы-

ставку превратили в Голгофу для меня. Почему вокруг меня образовался вакуум, полная и мертвая пустота.

Я знал, что на выставке бывало много народа, что у Маяковского много друзей, последователей, целая литературная школа. Все это я с большой наивностью и высказал.

— Друзья? Может, и были друзья. Но где они? Кого вы сегодня видели в Доме печати? Есть у меня друзья — Брики. Они далеко. В сущности, я один, тезка, совсем один...

Я не понимал безнадежности попыток убедить Маяковского, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, а его огорчение — следствие мнительности или, пуше того, необоснованных претензий. Я не понимал, что выставка «За двадцать лет» для Маяковского — итог всей трудной жизни и он вправе, именно вправе ждать признания.

И я задал вопрос, который Маяковскому, вероятно, показался если не бестактным, то весьма наивным:

— Чего же вы ждали, Владимир Владимирович? Что на выставку придут Сталин, Ворошилов?

Ответ последовал вполне для меня неожиданный:

— А почему бы им и не прийти? Отметить работу революционного поэта — обязанность руководителей советского государства. Или поэзия, литература — дело второго сорта? Сталин же принимает рапповцев, без них ничего существенного не делается...

— И позднее, — вдруг добавил он. — Вон служазные ресторана расходятся.

Маяковский поднялся и зашагал к гардеробу.

Мы вышли во двор. Светало, надвигалось утро. Мы отправились к Малой Дмитровке. На углу стояли извозчики.

— Поедем, — предложил я Владимиру Владимировичу.

— Нет, я, пожалуй, пройду пешком.

Мы распрощались, я уехал.

Утром 14 апреля мне домой позвонил сотрудник «Вечерней Москвы»:

— Маяковский застрелился.

ИДИ ЕГО УБИЛИ

И, главное, я вовсе не был уверен в том, что Владимир Владимирович прав и государственные деятели обязаны оказывать внимание поэту.

Тогда, если не ошибаюсь, еще не принято было награждать писателей орденами за достижения в литературе. Правда, орденом Красного Знамени был награжден Демьян Бедный. Но

ВЛАДИМИР МЛЕЧИН

то Демьян и за гражданскую войну. В течение всей беседы мне очень хотелось задать Маяковскому один вопрос, но я никак не решался, опасаясь чрезмерно острой реакции. Наконец я набрался духа:

— Владимир Владимирович, если вы так не жалуете рапповцев, воюете с ними, почему вы вступили в РАПП?

Маяковский ответил спокойно: — Не путайте РАПП и рапповцев, людей и принципы. Меня ничто не разделяет с партией, с революцией. Этот путь мне никто не навязывал, я давно его выбрал сам. И если партия считает, что РАПП ближе всего выражает ее взгляды и приносит пользу, — я с РАППом. Время надвигается острее...

— И позднее, — вдруг добавил он. — Вон служазные ресторана расходятся.

Маяковский поднялся и зашагал к гардеробу.

Мы вышли во двор. Светало, надвигалось утро. Мы отправились к Малой Дмитровке. На углу стояли извозчики.

— Поедем, — предложил я Владимиру Владимировичу.

— Нет, я, пожалуй, пройду пешком.

Мы распрощались, я уехал.

Утром 14 апреля мне домой позвонил сотрудник «Вечерней Москвы»:

— Маяковский застрелился.